

УДК 821.161.1Рассказ неизвестного человека7Чехов  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**В.Н. Чубарова**

**О «ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ»  
В ПОВЕСТИ А.ЧЕХОВА  
«РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО  
ЧЕЛОВЕКА»**

---

Предпринят опыт литературоведческой интерпретации природы чеховского художественного философствования, представленного как адогматическая версия философии повседневности («философии жизни»).

**Ключевые слова:** *Чехов, неизвестный человек, повседневность, философия жизни.*

---

**Чубарова Валентина Николаевна** – канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории мировой литературы Южного федерального университета

Тел.: 8(863)263-82-97  
E-mail: vnchubarova@sfedu.ru

© Чубарова В.Н., 2011 г.

«Философия Чехова. Сама эта формулировка кажется несколько неясной, подозрительной», – считает один из современных исследователей творчества писателя. И с этим можно согласиться, особенно в части признания нерешенности более общего вопроса – как «вообще изучать философию писателей?» [Сухих, с. 302] Случай чеховского творчества здесь безусловно представляется одним из наиболее трудных.

Уместно вспомнить, что спор о наличии и природе мировоззрения Чехова начался, как известно, еще при жизни писателя. Видимо, поэтому вполне закономерен тот факт, что смерть писателя обратила мысли современников прежде всего к проблемам, связанным так или иначе с истолкованием вопросов своеобразия чеховского мировоззрения и уяснением философского значения его творчества в целом.

Хорошо известна лекция-некролог С. Булгакова, прочитанная им осенью 1904 г. в Ялте и Петербурге, названная им «Чехов как мыслитель», в которой философ называет Чехова продолжателем философских традиций русской литературы девятнадцатого века, поднявшейся в лице своих титанов – Л. Толстого и Ф. Достоевского – до осмысления «самых глубоких и основных проблем человеческой жизни и духа» [Булгаков, с. 139]. Важно, что Чехов, как заключает С. Булгаков, влился в эту традицию со своей собственной темой – вопросом «о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека, благодаря которому он свали-

вается без борьбы». При этом философ уверен, что вся «литературная деятельность Чехова проникнута весьма своеобразным и трудно поддающимся определению на языке школьной философии идеализмом» и что только при его наличии «возможна оценка жизни и осуждение существующего во имя должного, которое – часто молчаливо – совершается в каждом рассказе Чехова» [Булгаков, с. 149].

В это же время появилась статья Льва Шестова «Творчество из ничего (А.П.Чехов)», где писатель был назван «певцом безнадежности» и «убийцей» всех человеческих надежд. Философ считает, что именно в этом скрывалась подлинная драма самого Чехова: он чувствовал невыносимость безнадежности, невозможность «творчества из ничего», но при этом готовым идеям – кумирам человеческого умозрения – не поклонился.

Философско-эстетическую задачу о природе творчества Чехова решал и Андрей Белый в статье «Чехов» (1904) находя, что в нем не просто встречаются, в нем «скрещиваются» противоположные течения: символизм и реализм. И достигается это, по мнению А. Белого, не за счет лихорадочного поиска новых форм в угоду современности, а посредством углубления чеховского реализма, достигшего небывалого «истончения», прозрачности образа [Белый, с. 373].

Иванов-Разумник двумя годами позже в своей трехтомной «Истории общественной мысли» (1906) отводит Чехову почетное место в ряду борцов с пошлостью жизни, причем не с пошлостью отдельных субъектов, а пошлостью «общественного мещанства». Разумник считает, что позднее творчество писателя отмечено обретенной верой в прогресс, которая, с одной стороны, спасала Чехова от глобального пессимизма, но с другой стороны, она осложнялась желанием жизни здесь и теперь, а не через сотни лет [Иванов-Разумник, 3, с. 141].

Зинаида Гиппиус (Антон Крайний) в «Литературном дневнике. Быт и события 1904» считает, что смерть Чехова, «этого тонкого, любовного художника мелочей, особенно возбудила внимание к «быту». Гиппиус мыслит метафизику быта прежде всего в его противоположности творчеству жизни, как противоположность «кристаллизации жизни» ее событийности и движению. «Чехов был в быту – и ненавидел быт, томился им, ненавидел быт, любя и зная его». «Он показал нам трагедию человека жизни – в быте; и это, может быть, остережет многих и укажет им их путь – если уж нужно искать действенной пользы в художественных произведениях Чехова».

Даже этот немногочисленный ряд приведенных примеров позволяет признать, что современники Чехова в лице своих наиболее проницательных представителей понимали значимость чеховской художественной метафизики жизни.

И из современного калейдоскопа суждений о природе философских смыслов творчества Чехова полезно будет указать на работы, наиболее репрезентативные для данной проблематики.

Так, С.Г. Бочаров в работе «Чехов и философия» отмечает чехов-

скую отзывчивость на философские вызовы своего времени. Философствуют многие герои Чехова, при этом их философия никогда не проявляется в виде системного знания. Автор сокрушается отсутствием чеховского частотного словаря, который наверняка бы выявил высокий индекс частотности у Чехова для слова «философия» и всех смежных с ним значений. В качестве примера анализирует «Чайку» и «ультрафилософский» пролог Треплева в ней, в котором угадываются и Платон, и Шеллинг, и Соловьев. Об отклике Чехова на работы Л. Шестова говорит С. Сендерович в статье «А.П. Чехов и Л.И. Шестов. А также кое-что об экзистенциальной социологии», полагая, что в последней пьесе Чехова затронуты вопросы экзистенциальной социологии, навеянные работами Л. Шестова о творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского, реализованные им на языке фарса. О причастности Чехова к философским интуициям своего времени пишет и С.А. Кибальник в работах, посвященных проблеме особенностей чеховской художественной феноменологии.

И.Н. Сухих, с цитаты которого начата наша статья, в своей монографии «Проблемы поэтики Чехова» определяет проблему осмысления своеобразия художественной философии Чехова как одну из актуальнейших для современного чеховедения. Считает, что тип философствования, существующий издревле параллельно систематизированному знанию и часто отождествляемый со «здравым смыслом и обыденным сознанием», наиболее органичен для художественного мышления в целом и для Чехова в особенности [Сухих, с. 307]. То, как подобный способ философствования преломляется и оформляется в «симфонию» философствующих и претендующих на свою правду голосов чеховских героев, И.Н. Сухих демонстрирует на примере оригинально прочитанного им «Черного монаха».

Один из возможных выводов, которым хотелось бы воспользоваться, заключается в признании того, что даже при самых широких исследовательских обобщениях в основе их всегда должно учитываться своеобразие и разнообразие отдельных чеховских произведений. Уже отмечалось не раз, что у Чехова нет одного главного произведения, которое вобрало бы в себя максимум его душевных мыслей и творческих возможностей. Поэтому, как правило, опыт интерпретации отдельных произведений писателя в аспекте заявленной проблематики представляется уместным.

«Рассказ неизвестного человека» впервые был напечатан в журнале «Русская мысль», 1893, № 2-3, хотя замысел повести возник в конце 1880-х гг. Об этом Чехов сообщал в письме Л.Я. Гуревич от 22 мая 1893 г. Тем самым произведение генетически принадлежит к периоду в творчестве Чехова, отмеченному переворотом в его сознании и творческой судьбе. Переписка Чехова этого времени наполнена свидетельствами о намерении и попытках создать большую романную форму. Роман так и остался ненаписанным, но из-под пера Чехова выходят в это время такие шедевры, как «Степь», «Скучная история»,

«Дуэль». «Рассказ неизвестного человека» по праву принадлежит к их числу. Но судьба у этого произведения сложилась несколько иначе. Известно, что рассказ очень понравился Н.С. Лескову, Л. Толстому. Критика отмечала «правдивость изображения высшей чиновничьей среды» [Чехов, 7, с. 533]. Но образ главного героя подвергся достаточно резким оценкам: перелом в мировоззрении народника-террориста не казался убедительно мотивированным; неясным оставалось и отношение автора к своему герою: осуждает или же оправдывает Чехов бывшего революционера.

Идеологическая составляющая, лежащая на поверхности, во многом предопределила и дальнейшее понимание и истолкование повести. Своего рода общим местом стала следующая трактовка истории, рассказанной чеховским «неизвестным»: «Отказавшись от социалистических воззрений и реальной борьбы за изменение жизни, чеховский герой, субъективно честный и порядочный человек, оказался сломленным и опустошенным. Эта опустошенность стала гибельной для него и для поверившей ему Зинаиды Федоровны. Чехов тонко раскрывал процесс превращения героя в обывателя» [Чехов, 7, с. 533]. С последнего и стоит начать.

В «Рассказе неизвестного человека» используется писателем повествовательный прием, знакомый читателю по «Скучной истории», – повествование не просто от первого лица, но от лица главного героя, рассказывающего свою историю как бы по ходу ее развития. Есть и еще момент сближения – оба и Николай Степанович, и Владимир Иванович (неизвестный человек) смертельно больны и оба знают о том коротком сроке, который отпущен им. Одинаково непросто обстоит дело и с именами героев: у Николая Степановича оно как бы отделилось, сосредоточив все самое славное, что было в его жизни; у неизвестного человека – оно вообще крайне условно и возникает в середине повествования как момент возвращения к искомой подлинности жизни. Сближает двух героев и напряженная привязанность к настоящему, прошлое того и другого не имеет никакого спасительного значения и необходимо лишь для отталкивания в мучительном процессе переоценки ценностей.

Неизвестный человек под именем Степан устраивается лакеем в дом к петербургскому чиновнику, по фамилии Орлов, с целью познакомиться поближе к его отцу – известному государственному человеку, которого он считал серьезным врагом своего дела. Сюжетно герою достался статус наблюдателя: он подробно описывает утренний ритуал Орлова: пробуждение, умывание, одевание и утренний кофе с сухариками и свежей газетой. Горничная и лакей были неотъемлемой частью всего происходящего: «Два взрослых человека должны были с самым серьезным вниманием смотреть, как третий пьет кофе и грызет сухарики» [Чехов, 7, с. 195]. Герой анализирует свои ощущения и с удивлением обнаруживает, что «это по всей вероятности, смешно и дико, но я не видел для себя ничего унижительного в том,

что приходилось стоять около двери, хотя был таким же дворянином и образованным человеком, как сам Орлов» [Там же]. Герой старается разгадать загадку происходящего с ним: «Не знаю, под влиянием ли болезни, или начинавшейся перемены мировоззрения, которой я тогда не замечал, мною изо дня в день овладевала страстная, раздражающая жажда обыкновенной, обывательской жизни.... И когда я стоял у двери и смотрел, как Орлов пьет кофе, я чувствовал себя не лакеем, а человеком, которому интересно все на свете, даже Орлов» [Чехов, 7, с. 196]. Может быть, именно роль наблюдателя и невозможность участвовать разжигала в нем жажду обыкновенной жизни. Жизнь Орлова, с устоявшимися привычками, явленная в распорядке вещей, мерном ее течении, с приходом приятелей, разговорами, чтением, запахом утреннего кофе, заставила и героя желать для себя того же. К этому добавилась линия прекрасной женщины, любящей, самоотверженной. Зинаида Федоровна, любовница Орлова, решила быть честной перед собой, мужем и людьми и, объяснившись с мужем, приехала к Орлову с намерением любить и быть любимой вечно. Она упивается кажущейся свободой от чужого мнения. Активно обустроивается в квартире Орлова. Интересно, что коллизия, разворачивающаяся между Орловым и Зинаидой Федоровной, построена на несовместимости именно жизненных, бытовых устроений: «Так называемый семейный очаг с его обыкновенными радостями и дразгами оскорбляли его (Орлова. – В.Ч.) вкусы, как пошлость; быть беременной или иметь детей говорить о них – это дурной тон, мещанство. <...> И для меня теперь представлялось крайне любопытным, как уживутся в одной квартире эти два существа, – она, домовитая и хозяйственная, со своими медными кастрюлями и с мечтами о хорошем поваре и лошадях, и он, часто говоривший своим приятелям, что в квартире порядочного, чистоплотного человека, как на военном корабле, не должно быть ничего лишнего – ни женщин, ни детей, ни тряпок, ни кухонной посуды...» [Чехов, 7, с. 210–211]. Герой, чьими глазами мы видим все происходящее, напротив, признается, что ему «хотелось влюбиться, иметь свою семью, хотелось, чтобы у моей будущей жены было именно такое лицо, такой голос. <...> Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, медные кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы, и мне грезилась жена, детская, тропинка в саду, домик...» [Чехов, 7, с. 225]. Свидетельством окончательного разрыва героя с прошлым стал эпизод посещения квартиры сына Орловым-старшим. Вчерашний враг предстал стариком со «старым грустным лицом», с лысиной и «ямкой на затылке». Рассказчик признается, что старался «выдавить из своей души хотя каплю прежней ненависти...», но старик уходит, а герой вынужден признать: «во мне произошла перемена, я стал другим» [Чехов, 7, с. 241]. С этого момента меняется роль героя – из наблюдателя он все более превращается в деятельного участника событий: пишет обвинительное письмо Орлову, раскрывает глаза на реальное положение дел

Зинаиде Федоровне, предлагает ей свою помощь в отъезде за границу. У него жизнь наконец-то наполняется смыслом деятельной заботы, хотя из нее уходят приключения и тайна. Зинаида Федоровна, напротив, желает вырваться из пут обманувшей ее обычной жизни. Ее греет иллюзия, что какая-то иная жизнь, наполненная «борьбой», станет спасением и оправданием. Позже она обвинит спутника, предложившего ей всего лишь обычную жизнь с тихими радостями и способностью самоотверженной любви, в предательстве и обмане. Для него же теперь это и есть жизнь, и если он затрудняется в формулировке смысла такой жизни, то в проникновенном вскрике о желании жить, жить! – он предельно искренен. Герой уже не боится признаваться в желании обычной обывательской жизни. Он оправдан масштабом и ракурсом ее восприятия, обретенными ценой страдания и экзистенциального откровения. И получается, что жизнь, примиряющая врагов, жизнь, заставляющая заботиться о чужой любовнице, а затем и о ее ребенке, жизнь, сотканная не из приключений, а обычных радостей бескорыстной любви, преданности, трепетной заботы о жизни ребенка, – оказывается истинной. И если в начале его повествования преобладала оговорка «как мне тогда казалось», то во второй части «оказалось» все прямо наоборот. И содержанием этого перевертыша оказывается несовпадение идей и думания о жизни, придумывания ее значений с самой жизнью, которая объяла героя собственной логикой и неотразимой силой неизреченной значимости. Герой резонирует с ней в полной растерянности в начале, затем все более укрепляясь и доверяясь обретенному ощущению. Это и есть «философия жизни» по-чеховски.

### Литература

- Бочаров С.Г.* Чехов и философия // Вестн. истории, литературы, искусства / Отд-ние ист.-филол. наук РАН. М., 2005.
- Белый А.* Чехов // Символизм как миропонимание. М., 1994.
- Булгаков С.Н.* Чехов как мыслитель // Избр. статьи: соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1993.
- Гиппиус З.Н. (Антон Крайний).* Литературный дневник. Быт и события 1904 // Дневники. СПб., 1908. (<http://old.kommunalka.spb.ru/lib>)
- Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли: В 3 т. Т. 3. М., 1997.
- Сендерович С. А.П. Чехов и Л.И. Шестов. А также кое-что об экзистенциальной социологии // Вопросы литературы. 2007. № 6.*
- Сухих И.Н.* Проблемы поэтики Чехова: 2-е изд., доп. СПб., 2007.
- Чехов А.П.* Соч.: в 12 т. М., 1962–1963.
- Шестов Л.* Творчество из ничего (А.П.Чехов). ([www.vehi.net/shestov/chehov](http://www.vehi.net/shestov/chehov)). [Электр. Ресурс.] (Дата обращения:13.01.2011).